


83.3(2Рос=Рус)6-8  
Х71  
1383370



В. Холкин  
А. Маслов

# БЛОК:

двенадцать персонажей  
одной души

83.3(20с-Н)6-8

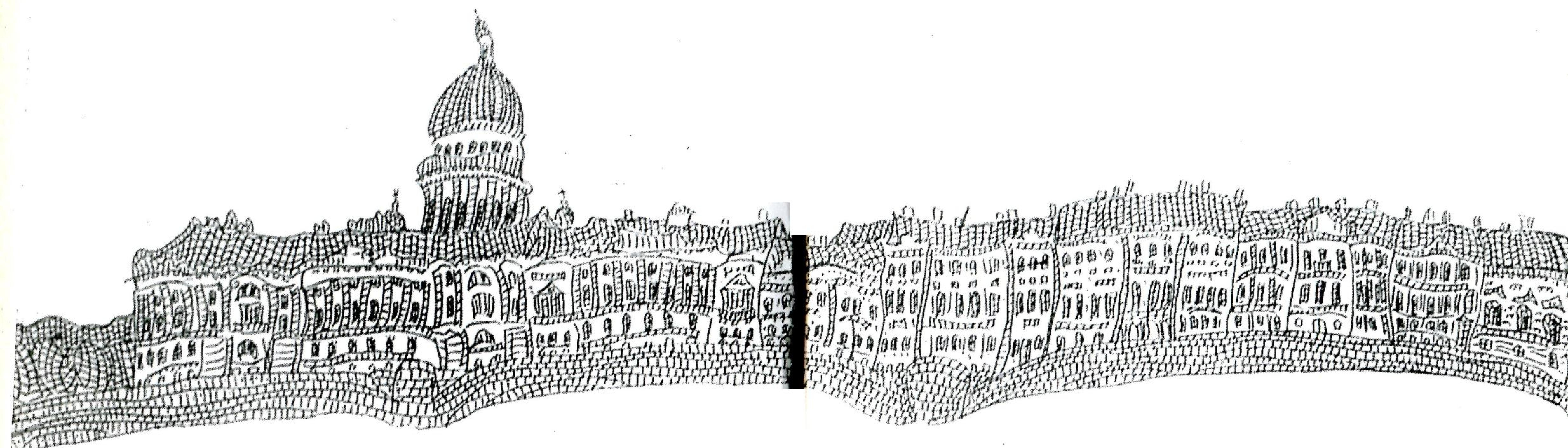
Х 71

Обязательный экземпляр

В. Холкин

А. Маслов

# БЛОК: двенадцать персонажей одной души



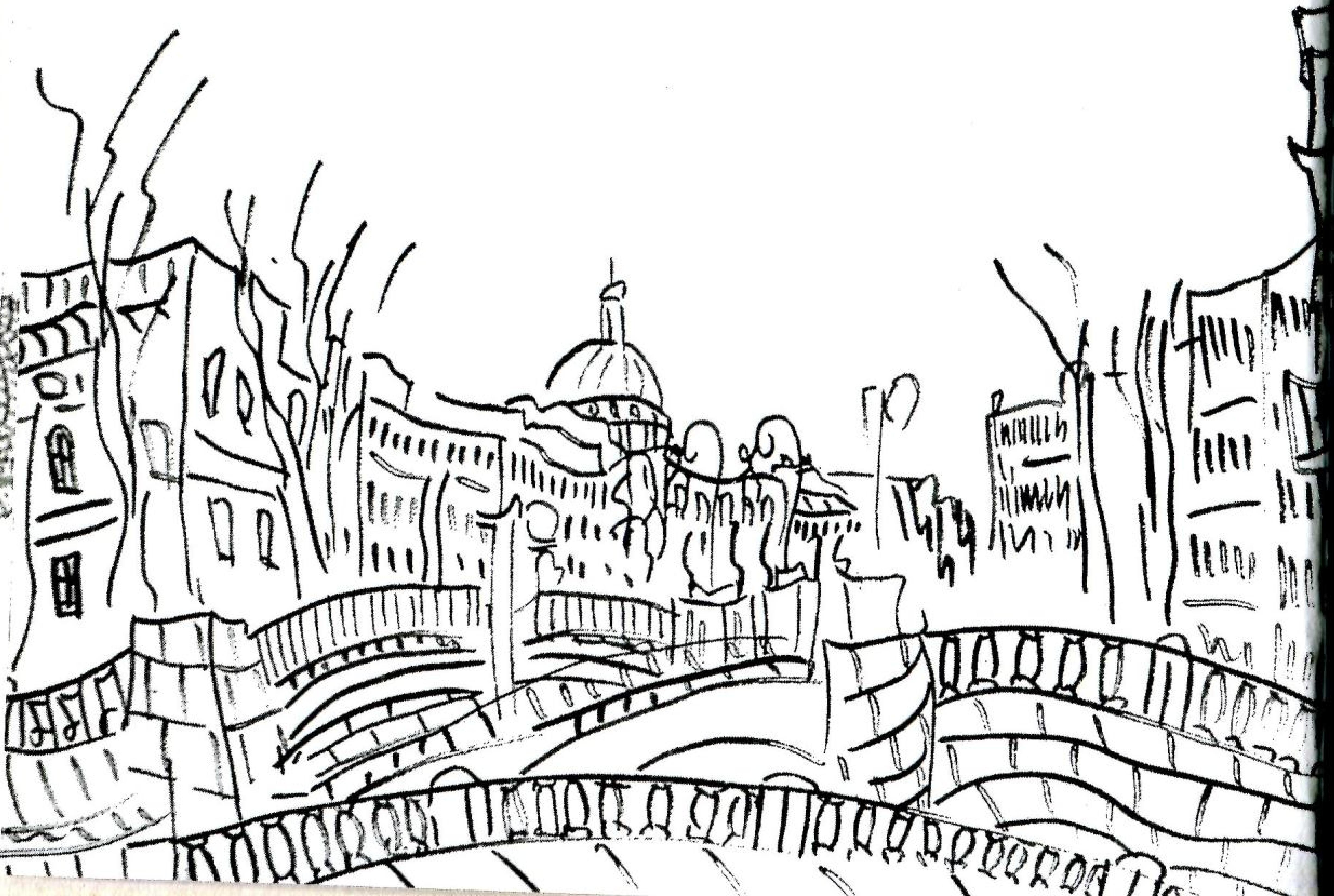
Санкт-Петербург  
АЛЕТЕЙ  
2010

1383370

Курская областная  
научная библиотека  
имени Н.Н. Асеева

*«Увидел на странице древней книги  
свой портрет и загрустил»*

Блок. Из записной книжки.  
29 июля 1903 года



«/.../ веселое имя - Пушкин». Это слова из доклада Блока «О назначении поэта», произнесенного в Доме литераторов Петрограда 13 февраля 1921 года, то есть, всего за несколько месяцев до смерти.

Блок - имя не веселое. С гимназического еще детства он был молчалив, одинок и нелюдим. В отличие от своего - с ранней молодости — друга-недруга Андрея Белого, который во все время своей жизни был шумен, упорно однолик и постоянно возбужден своими мистическим видениям и прозрениям: будучи всему этому всегда и неизменно в себе верен. Зато и явью бурливой повседневности был, почти не уловим, укрываясь плащом тайны едва ли не гениального, своего дара. Блок же, наоборот, слишком рано оказался повседневностью уловлен - уловлен вразсплох и необратимо. А уловленный, был принужден принаршивать себя к изобилию не всегда желанной «людности» своего малого мира. И, потому обернулся многоликим. Обернулся надолго - и как художник, и как человек. Ибо, оказался слишком уязвим для чужого взгляда в сердце. Или невольником влекущих его чужой стороной, токов жизни и, собственных сумбурных порывов за пределы одинокости. О следах и знаках душевных усилий одоления этой тягостной несвободы ясно говорят дневники или записные книжки поэта. Явное их отражение заметно не только в стихах, но и в драмах (прежде всего в «Розе и кресте») и, наиболее отделано, в лирических и критических статьях. Ибо именно в творчестве Блока отчетливо является миру как носитель взгляда и чувства человека, попавшегося не только в сети вечно чуждой жизни, но и в сети своего внутреннего двойника.

Означить или, холодно поразмыслив, взять самобытности представленных здесь двенадцати портретов Блока, заодно определив и ее меру, можно по-разному. Бросив, скажем, на них взгляд эстетически искушенный или свидетельски созерцательный. Сочувственно же понять исток ее происхождения, в основе которого лежит трагически гротескная история человеческого лица, а, поняв, проникнуться такой ее природой, способен лишь взгляд не беглый и прицельный. Взгляд философски не равнодушный, причастный пониманию и толкованию человека как своду образов, свойств и непростых, «сложноподчиненных» связей собственной его души. Способно чувство не беспечное, а мысль участливая, тщательно разборчивая - свободно, без предубеждения увлеченная в раздумье. Иначе говоря, здесь потребно умение разглядеть всю сумму отдельных ярких примет этой живописи, чтобы в итоге, согласившись с ними, принять ее выразительную пластику и ее убедительный, психологический смысл, в целом.

Однако прежде стоит все же уяснить, насколько состоятельна затея создания такой необычной галереи и, успешна ли она как неразымчивое художественное пространство. Уяснить с тем, чтобы после сопоставить живописный уклад этих портретов не только творческим, но и духовным сущим самого облика поэта. Или, по крайней мере, с исторически несомненной явью его образа. А попутно отдать себе отчет в ущербности понимания духовного облика как лишь сознательно и умышленно взращенного. Или образа и лица как врожденного, неизменного и от движений души зависимого лишь окольно и слабо. И, потрудившись эти вопросы уяснить, попытаться сравнить художественно-смысловую грамматику портретов с грамматикой исповедальных чувств самого поэта и воспоминаний многих участников его жизни.

Или просто, отринув все условия и оговорки, взять накалу испытующих душу поэта страстей и, ответной изощренности живописных черт написанных художником портретов, заметно, все же остранённых психологическими предположениями и философ-

ской рефлексией художника о поэте. Внять пылкому и нервному строю, в котором наглядно верховодит бесстрашие мазка и властвует натиск не скованной жестким историко-литературным каноном, подвижной формы. Формы, что, упорно, но и обдуманно меняясь от портрета к портрету, колеблется между сухой парадоксальностью представления и явно выраженной образностью воли. Двумя едва ли не основными ипостасями этого опыта живописного гротеска и последовательного психологического преувеличения.

Формы, где единенное вещество пластики и цвета движется от едва сдерживающей чувствительности до нарочито резкой чувственности. И, где его свободный ход, ища смысла изображаемого лица, простирается от напряженной, но терпеливой пытливости вопроса, в одних портретах до смиренно неспешного ответа, в других. Собственно, именно эти, откликающиеся творческим убеждениям живописца, особенности такого пространного смешения и делают форму портретов решительно экспрессивной. Причем, трагической и смеховой, одновременно. Именно так форма живописи здесь осуществляется, материализует идею. Идею близкого сходства души, лица и судьбы, их связи и отражения друг в друге. Материализует наглядно, оглашаязывающее и, выражая здимо, едва ли не во плоти.

Словом, самобытность этой живописи мерится мерой того индивидуалистического миропонимания и, сообразного ему стиля художника, что, выдержав испытание воплощением, и подготовили успех этого, и вправду, странного почина. Почина успеть воссоздать вдюжине разнородных портретов непрестанную психологическую зыбкость человека тонкого, уязвимого, защитить душу которого от бед и меланхолии не в силах была даже поэзия. Иначе говоря, попытки суметь понять и выявить те, известные по дневникам и записным книжкам Блока, свойства «внутреннего человека», что отразились не только в поэтическом его деле, но и в самом - обреченном судьбой на беды и преображения - его облике. Облике, что вместе с душой и жизнью, оказался увлеченным в раннюю смерть сдвигами шатающегося, а позже, так и вовсе скандального времени. Облике, что без надежды на

сохранность, был отчаянно, изнурительно и... непрестанно такими смещениями тревожим.

Однако главным, как кажется, мотивом замысла художника было желание этот перепадающий, ускользающий, переменчивый облик уловить. Вызвать его в лице, всякий новый раз себе не равном и, порой, - под влиянием злобы ли дня, тоски ли ночи - неизвестно меняющемся. А точнее, желанием закрепить на холсте внезапно угаданное чутьем, свойство этого лица подаваться под напором скрытых душевных переливов. Или, говоря шире, попыткой понять силу, внушающую духовному и физическому облику подчиненность влияниям и волнениям глубинных сложностей души. Подчиненность и податливость, что - вместе с частой душевной неладицей - с удивлением и горечью отмечались многими современниками Блока и, сплетение которых зачастую не могла подолгу одолеть даже резко беспокойная, почти мизантропическая его ирония.

Примечательно, что именно разрушительному влиянию иронии на душу человека, Блок посвятил в 1908 году раздражительную - хотя и исполненную хлесткой правдивости чувства - лирическую статью. Однако надежда ослабить напор собственного, беспощадно иронического отношения к миру оказалась тщетной. Избавиться и освободиться от влияния иронии на душу ему так до конца и не удалось. Более того, именно эта, поневоле защитная ирония да безмузыкальный, рваный воздух кромешной революции и сгостили это влияние сначала до голого, порой, мрачного одиночества, а после, уже через сознание обреченности, довели до окончательного поражения души.

Горькое это состояние поэта вспомнилось русскому писателю Ремизову в Париже, написавшему в посвященной памяти Блока статье «К звездам»: «Помните, Александр Александрович, в Отделе Управления мы толились в очереди/.../: вы потеряли паспорт - /.../ и надо было восстановить, а я с прошением о нашей погибели на Острове без воды и дров - помните, вы сказали, поминая О. Д. Батюшкова, что мы-то с вами - мы выживем, последние, но если кто-нибудь из нас...И я в глазах ваших видел, не о себе это вы тогда. Бедный Александр Александрович - вы

дали мне настоящую папирису! пальцы у вас были перевязаны. И еще вы тогда сказали, что писать вы не можете. - В таком гнете невозможно писать».

Поэтому, еще одной важной особенностью психологической своеобразности наших портретов является и тонкое предоощущение, догадка художника о сокрытой, круговой прикровенности мира своего героя. Его попытка разнопланения того, остерегающего и сторожко таимого даже от близких, странного мира гордеца, странника и одиночки, что желал, да так и не достиг, не обрел желанной свободы.

Стоит сказать, что приметы и признаки этого странного мира, обнаруживаются в этих портретах Блока не сразу, а почти незаметно медленно проявляясь. И, словно пропустив сквозь слоистую густоту неслучайных красок, приводят на память признания самого поэта о едва ли не фатальной, издавна присущей ему разноликости. Признания не только потаенные и прямые («Дневник» и «Записные книжки») или открыто лирические и косвенные (стихотворение «Двойник»), но и исповедальные и мучительные (многие письма).

Вроде, скажем, такого: «В лирике закрепляются переживания души, в наше время, по необходимости уединенной. Переживания эти, обыкновенно, сложны, хаотичны; чтобы разобраться в них, нужно самому быть «немножко в этом роде. /.../ Идеальный лирический поэт - это сложный инструмент, одинаково воспроизводящий самые противоположные переживания. А вся сложность души, /.../ страдающей долго и томительно, когда она страдает, пляшущей, фиглярничающей и кощунствующей, когда она радуется - /.../ разве можно описать всю эту сложность?».

Вместе с тем, и смысл, и замысел и, общий тон портретов этой своеобразной «историко-литературной» галереи - исполненной порывистого психологизма и, неподдельного живописного мастерства - может быть объяснен и бесхитростней и доступней. А именно, самим словом «двенадцать» - словом вполне общоденным и обыденным, однако в искушенном культурном быту едва ли не обрядовым. Или даже сакральным. Тем самым словом, что, давно уж сопутствуя имени поэта, звучит для всякого русского уха привычно и непреложно: «Двенадцать» Блока. Иначе говоря,

внешнее побуждение художника к написанию всех этих портретов, легко и без заминки укладывается в словосочетание со школьной скамьи знакомое, расхожее, почти косное. Проще сказать, оно издавна является будничным названием очередной темы урока по литературе; урока, усвоенного многими из нас нередко походя, отрочески небрежно, а зачастую (и это - главное), без излишка и докуки вникновенного прочтения.

И оттого попытка известного петербургского живописца-философа Анатолия Маслова - совместить евангельский, литературный и лирический смыслы поэмы «Двенадцать» - как, своего рода, «поэмы итога» - с двенадцатью картинами жизни облика ее автора кажется поначалу либо непосильно мечтательной, либо самонадеянно дерзкой. Или, излишне выспренней. Или - недостаточно основательной и веской. Представляющейся, скорее, неприкрыто простодушным желанием, горячо воодушевленным самим неожиданным и, пожалуй, причудливым замыслом, чем уверенной готовностью сполна этот замысел осуществить. Или проще. Избыточно отважной игрой воображения, идущей, по обыкновению, вслед увлекательной, но нерасчетливой затее вдохновения. Каковой нередко видится любая творческая мысль, влекущая одержимого ею художника в каждый новый опыт. Или, наконец, попыткой замысловато игровой и нарочито умышленной, с решительностью игрока предпринятой вопреки давнему письеско-му обычью благовения перед именем поэта.

Однако, вместе с тем, является она и попыткой обдуманной. Ибо дело идет о том, измлада прилежащим Блоку особо плодотворном даре игры одинокого воображения и задумчивого одиночества, последовательно сторонящегося общества сверстников или соучеников по гимназии. Том раннем (и у многих его современников, совсем редком) особом даре неукоснительного - во всяком движении души - доверия себе, которое с детских пор (и уже до конца жизни) неизменно напечатлевалось на этом чутком, так и не сумевшем заслониться от вседневного напора жизни, лице. Словом, о том, острой чувствительности, особом даре укромного переживания всего - зачастую своевольно суженного и от излишков общения

уходящего - тесного круга жизненных связей и впечатлений. Или, наоборот, о том - и тоже прирожденном - свойстве души, что, трепеща ли, недвижно ли вдруг застывая, все равно требовательно ожидала своего непременного воплощения в словах и образах стиха. Стиха как события сотворения, происходящего не только в покое одиночества и раздумья, но и в тихом бунте угнетенного чувства.

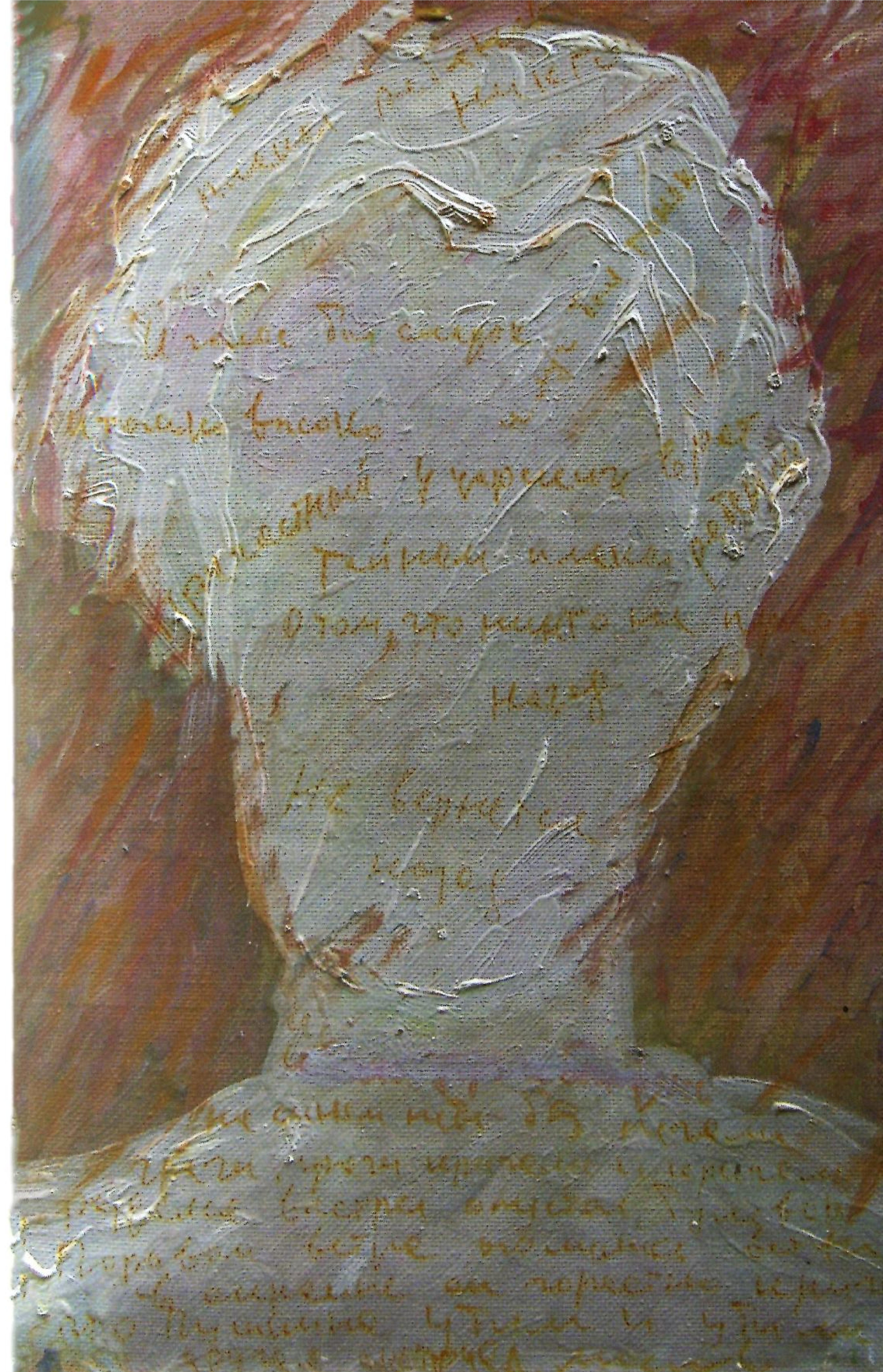
И, кажется, что наиболее деятельно и остро влияние дара чувствовать «все трещины мира» как потрясение и преобразовывать это чувство в стих, сказалось у Блока в труде муках и торжестве работы именно над поэмой «Двенадцать». Поэмой, которая, стгутив пугающий, спутанный метелью, волы русской смуты в обновленное этим потрясением слово, вознесла ее хаос и безобразие в музыку ритмически и образно точнейшего стиха. Стиха - по пронзающей болью за человека, растерянности сердца и надрывному ее преодолению - едва ли не самого кровоточащего в русской поэзии. Однако вознесение - это лишь одна сила, лишь одно направление движения стиха «Двенадцати». Есть и другая сила - сила частушечная, снижающая, низводящая; и иное направление пути стиха - низвержение, падение, западение. Ибо, именно эта, «псевдо-апостольская» поэма Блока впервые так беспощадно и, вслед всему увиденному, низвергла образ носящегося без узды и жалости к человеку вздыбленного времени в шалую грубость уличного раешника. «Эолова арфа - щель в деревянной стене балагана», как запишет сам поэт в дневнике 1908 года, словно мимоходом глянув «справерх барьера» времени в год 1918-й.

А потому стоит сказать, что попытка нашего художника провидеть многоцветье страсти не только в лоскуной, ритмически клочковатой пластике черно-белой поэмы, но и в черно-белой же (со всеми ее темными смятениями, пагубами, мятежами и давними «снежными» пристрастиями) жизни ее автора - такая попытка выразительно удалась именно живописно. Пусть и не бесспорно, пусть даже в иных портретах, избыточно густо, но удалась. Оттого и обстоятельное мнение о такой удаче, в отличие от первого впечатления и первого взгляда, возникает лишь при медленном, не скучающем на умное

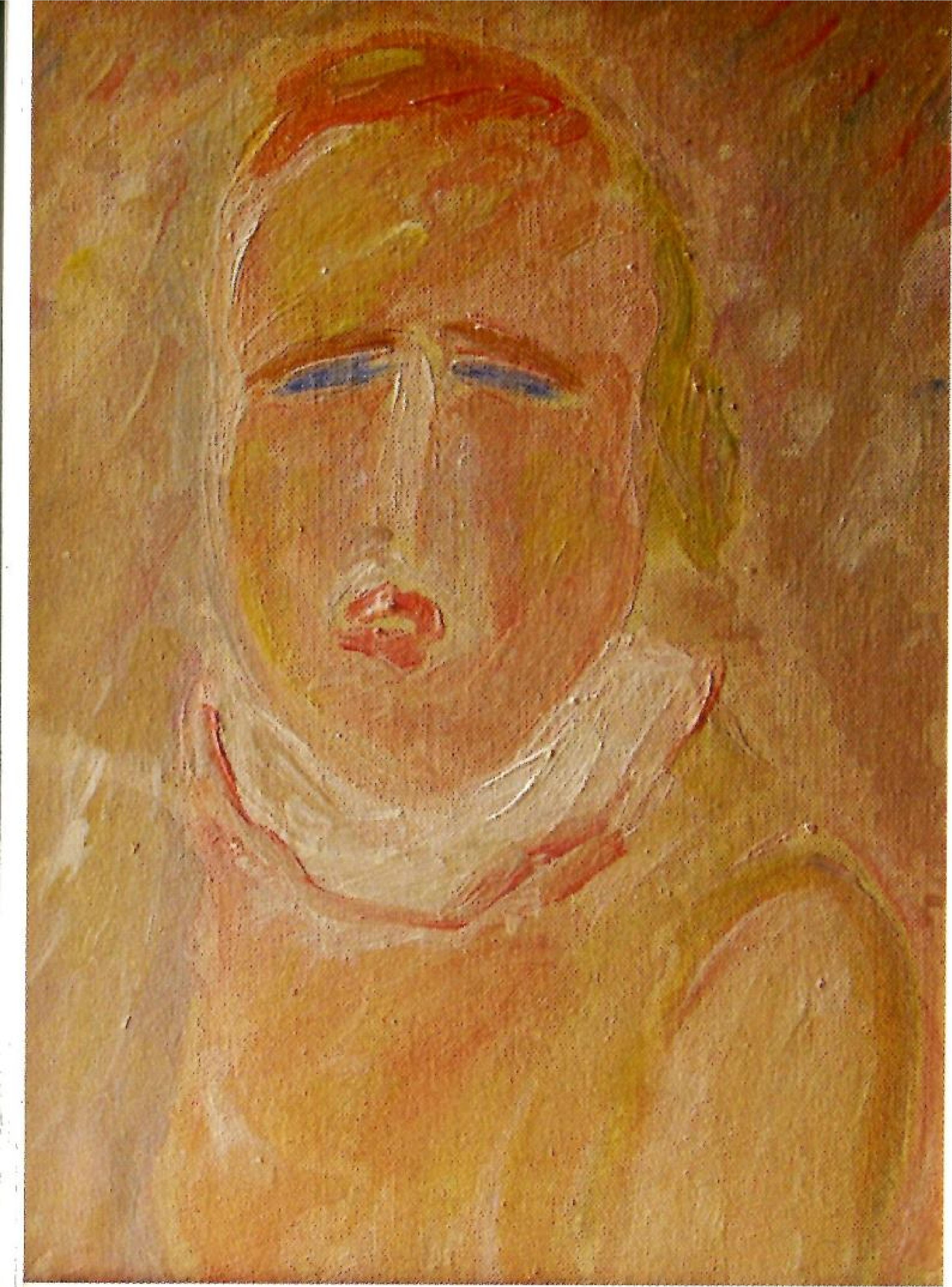
чувство, вглядывании в эти портреты. Портреты, примечательно (зная, что это образы одного и того же человека) несхожие меж собой, однако втуне - вслед скрытому духовному чутью самого художника - близкие к прижизненным изображениям Блока, прежде всего, психологически. Изображениям, далековато друг от друга отстоящим, изрядно друг от друга разнящимся, однако именно этой разницей много о тогдашней русской культуре сказавшим. И оттого смогшим сегодня, в этих портретах состояться как правдивые художественные облики.

Более неожиданно удалась художнику попытка обнаружить роль времени, нерукотворным своим вмешательством менявшего облик поэта; менявшего упорно, прихотливо, глубоко и безвозвратно. Вернее, удалась попытка аналитически емкого размышления о времени, одинаково загадочно владеющего и лицом и духом человека. Размышления, что, вроде бы покорствуя плотной живописной палитре, полнит холст не только сложным, будто прямо на глазах возникающим цветом, но и легко уловимыми зрячей душой, видимыми оттенками философского отношения художника к своему герою. И, главное, попытка эта удалась как верно предположенное и, проницательно угаданное сквозь пословичные потемки чужой души, «внутреннее» лицо и жизнеописание иной личности. Жизнеописание, задуманное и данное художником, как череда обликов человека, неизменно живущего под давлением. Либо времени, либо души. И потому, беспрестанно (и мучительно) становящегося другим - и духовно и плотски.

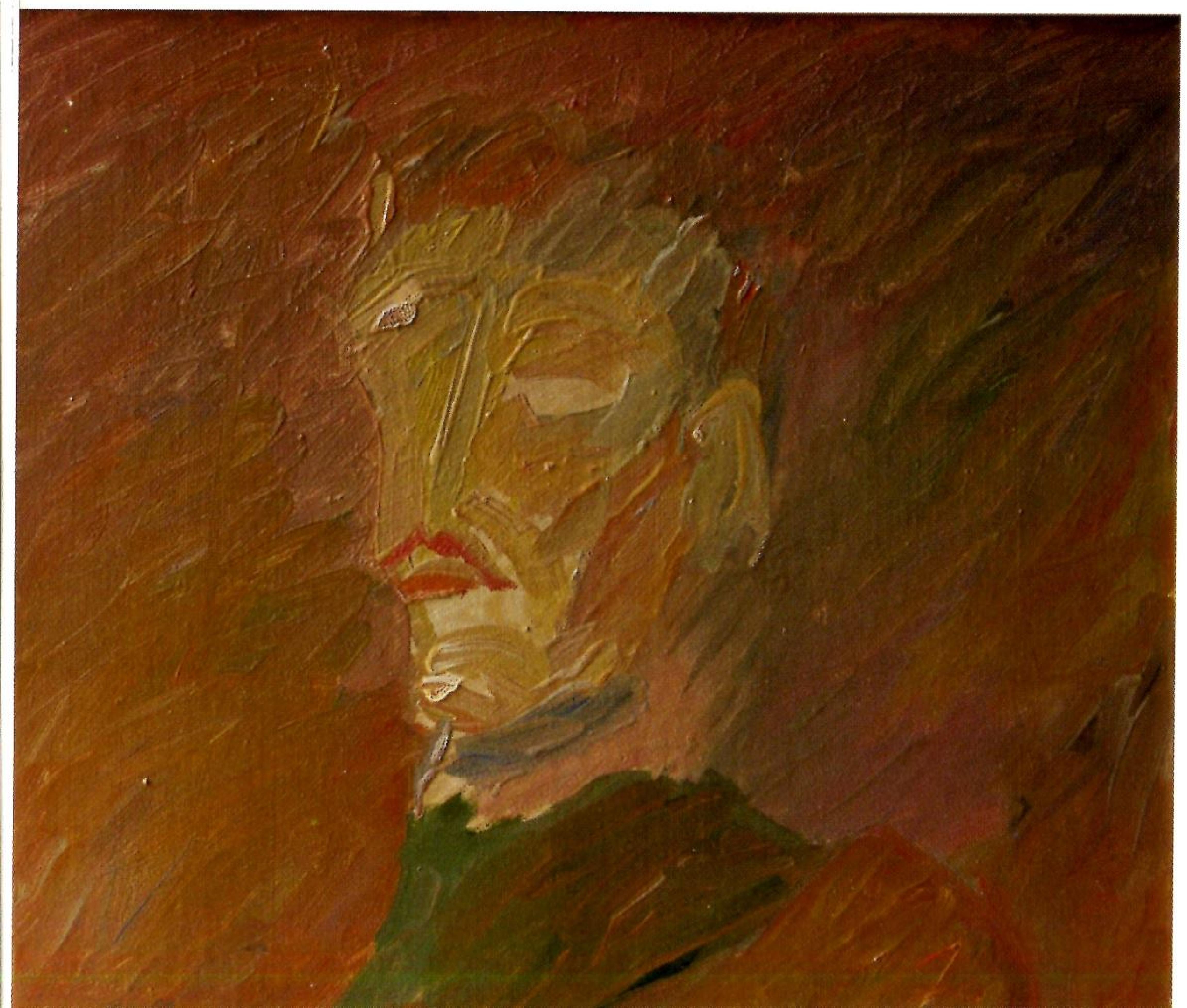
И словно подтверждая это впечатление, вспомнятся вдруг некоторые, идеино и формально совсем разные и, в разные годы написанные, работы о Блоке. Работы высочайшего исследовательского и филологического достоинства, лежащие в самом центре блоковедческих исканий. Вот авторы этих работ: П. Громов, Д. Максимов и В. Топоров. А вот их основные идеи и представления о духовной сущности Блока. Так, Громов пишет о хороводе масок и обликов; Максимов о настойчивом стяжании пути и; наконец, Топоров подробно и глубоко трактует о внутреннем аполлинизме поэта, именно в «Двенадцати» окончательно преодолевшим дионаисийские порывы и смятения своей музы.



1 Время Поэта, навсегда  
воплотившего русскую смуту  
в чистейшее русское Слово



2 Время детского  
рукописного  
журнала «Корабли»



3  
Время  
«Скифов»



4  
Время  
стихотворения  
«По вечерам, над  
ресторанами...»



5  
Время  
«Балаганчика»

6

Время «Незнакомки»



7

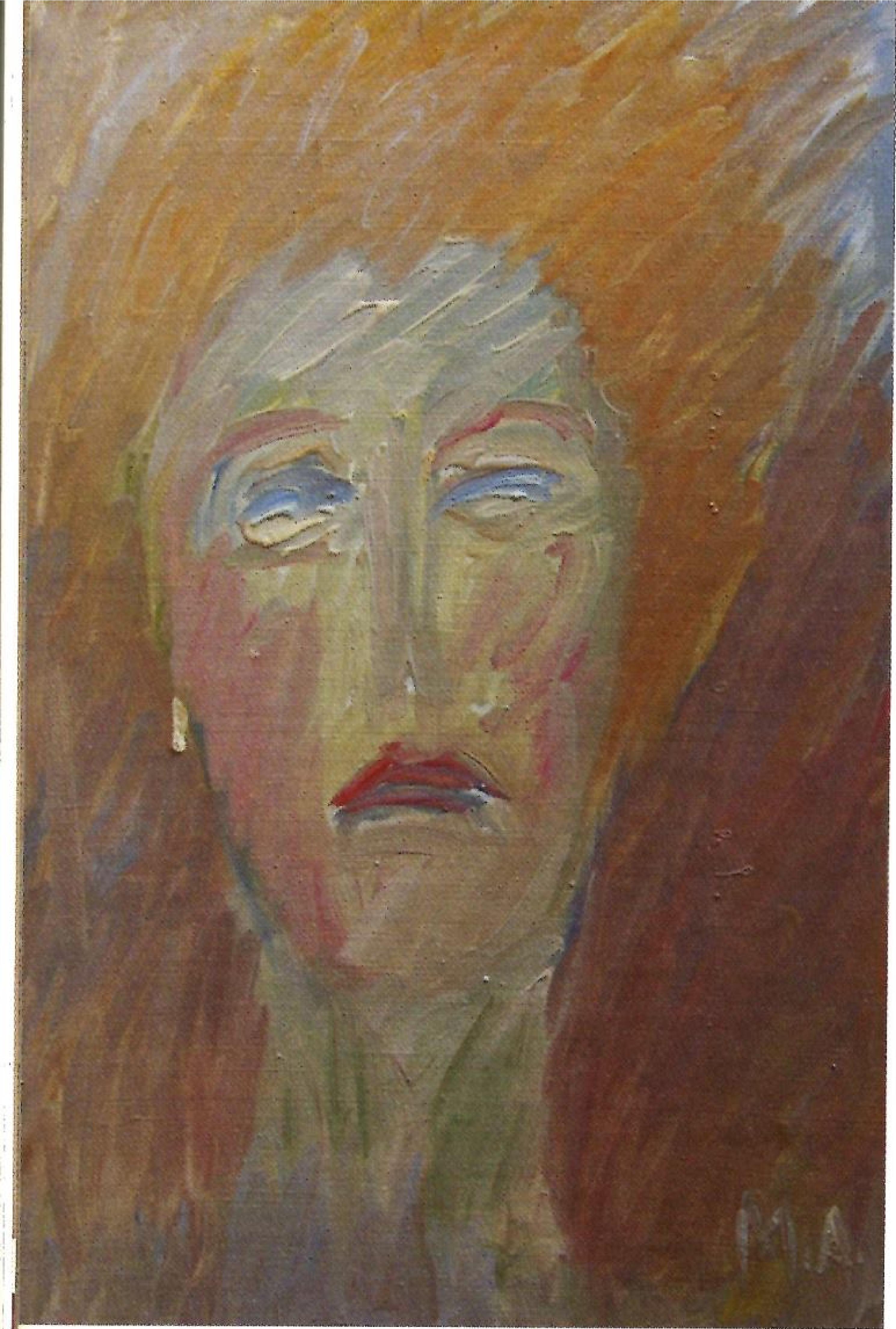
Время лирики  
«Соловьиного сада»  
и трагедийности  
«Возмездия»



8

Время  
«Музыки  
революции»





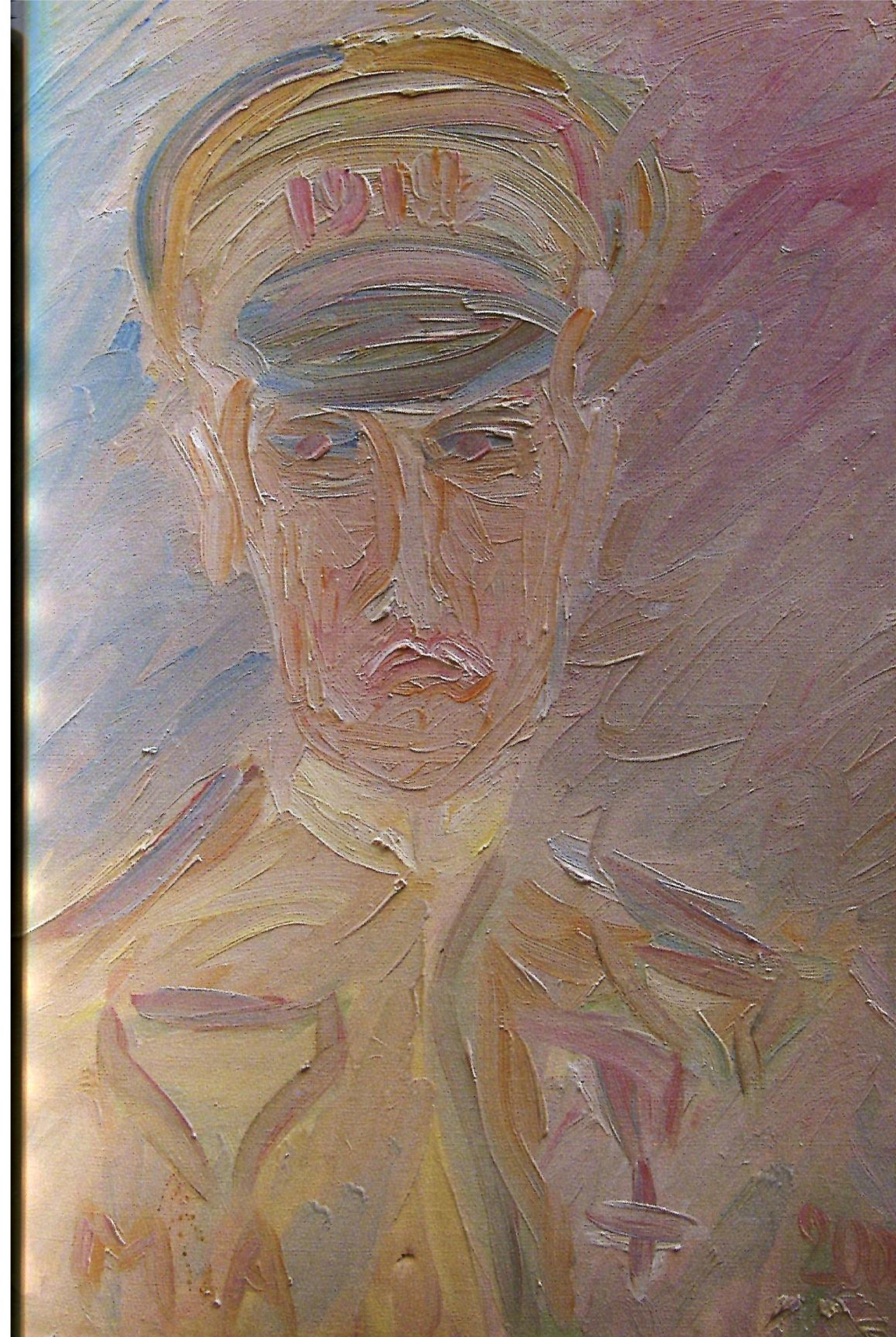
9

Время «Стихов о  
Прекрасной Даме»



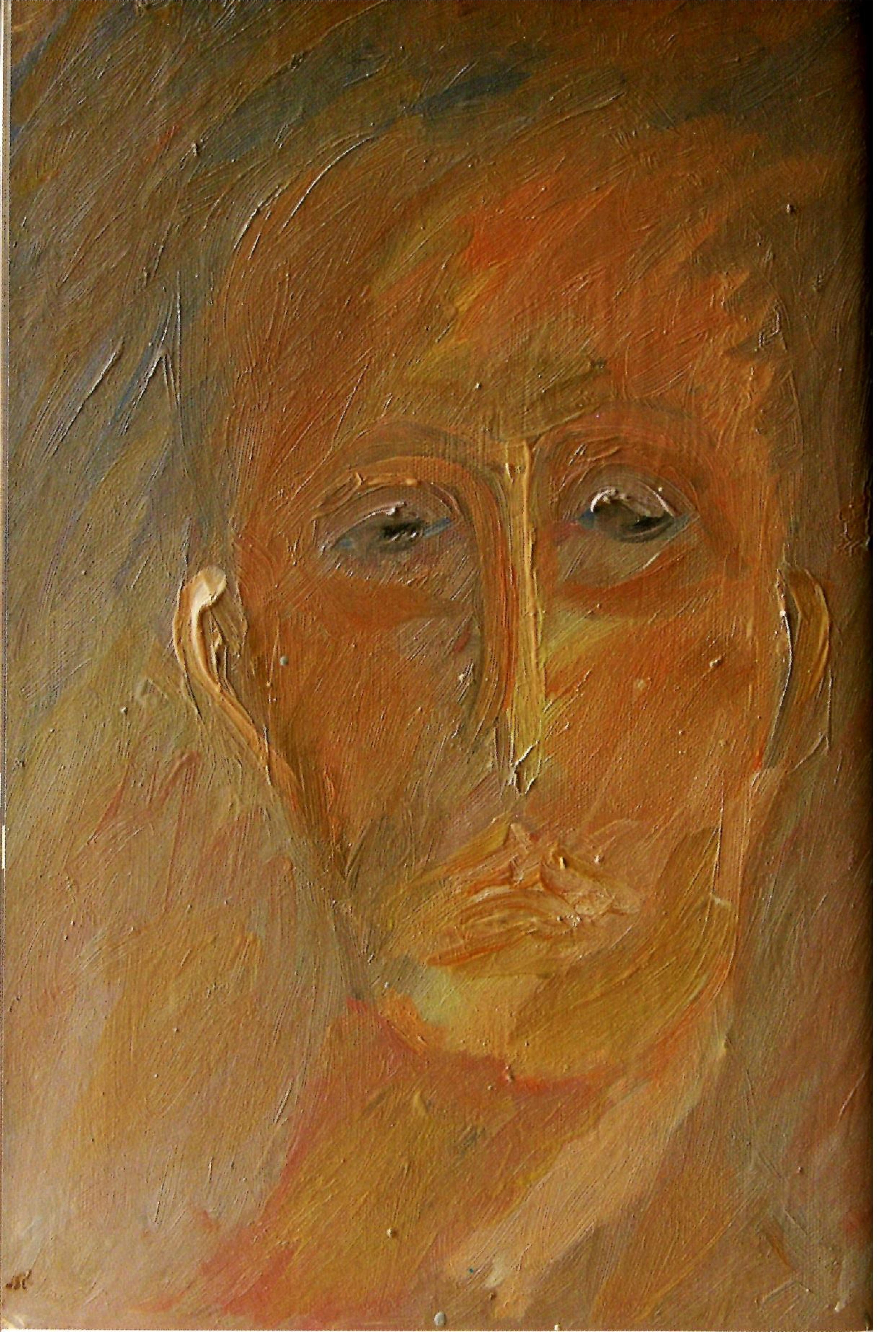
10

Блок и Че Гевара



11

Время войны, душевной тягости  
и возобновленного дневника



# 12

Время стихотворения  
«Пушкинскому Дому»

Между тем, и сама затея живописца, и столь не чаяно «дальнозоркое», ее осуществление могут быть обоснованы и объяснены не только обостренно угадчивым чутьем художника или достаточным его историко-литературным знанием, но и - окольно - следующим признанием самого Блока. Признанием, живо иллюстрирующим одну из только что названных идей его поэтической личности и его литературного поведения: «Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и времененная, является чувство пути. /.../ Писатель - растение многолетнее. /.../ душа писателя расширяется и развивается периодами, а творения его - только внешние результаты подземного пути».

Мы же продлим разговор словами, что произнесли о нем другие. Другие, среди многих таких же других: дальних и близких, своих и чужих. Знавший его не понаслышке Корней Чуковский: «То, чем он жил в своей жизни, он сжигал дотла в своем творчестве». Видавший и встречавший его Юрий Тынянов: «Как человек он остался загадкой для широкого литературного Петрограда, не говоря уже о всей России». Не знавший и не видавший его, но увлеченно изучавший его поэзию и его жизнь и, написавший об этом хорошую книгу, современный писатель Николай Крыщук: «В биографии Блока много нераскрытоого, поражающие нас ассоциации. Тетка поэта М.А. Бекетова обратила, например, внимание на то, что в его юношеском рисунке северной зимы присутствуют многие мотивы «Двенадцати». Как очутились они там за два десятилетия до написания поэмы? Случайность ли это?».

Речь, однако, идет не только о «Двенадцати», но и о вехах, что прошла и сменила душа поэта на пути к этому - по многим признакам музыкальному - сочинению как духовному итогу своей жизни. Итогу, многолико и исчерпано представшему миру в образах этой великой трагической поэмы. Трагической, в числе прочего, и потому, что хотя с ее окончанием высокое напряжение требовательной мысли спало, однако разрешение души от муки так и не произошло. А еще потому, что отношение самого поэта к вихревой, бурянной материи поэмы с ее жуткими, не проясненными и по сию пору, смыслами свержения лада жизни в угоду

разрушения любви и торжества ненависти, его ошеломляющей смены на сумятицу судьбы - отношение это было исступленно противоречивым.

Вот две, взаимонеприязненные записи из его записной книжки, между которыми меньше месяца. Первая (давно в блоковедении известная): «Что Христос идет перед ними - несомненно. Дело не в том «достойны ли они его», а страшно то, что опять. Он с ними, и другого пока нет; а надо Другого - ? - Я как-то измучен. Или рожаю, или устал» И вторая: «Красная гвардия» - «вода» на мельницу христианской церкви (как и сектантство и прочее, усердно гонимое). В этом - ужас (если бы это поняли) В этом и слабость красной гвардии: дети в железном веке; сиротливая деревянная церковь среди пьяной и похабной ярмарки. Я только констатировал факт: если взглянешься в столбы метели на этом пути, то увидишь «Иисуса Христа». Но я иногда сам глубоко ненавижу этот женственный призрак».

Однако наши портреты воплощает не сами мечтательные, скоморошно забубленные или безнадежно гибельные образы этого блоковского творения, а двенадцать образов самого Александра Блока. Поэта и свидетеля, обок с персонажами идущего и, неслучайным прохожим, время от времени среди них мелькающего. Двенадцать несходных между собой образов поэта, позади нестройного и, вроде бы, нескладного шествия которых брезжит слоистым светом тот самый «ненавидимый иногда женственный призрак». Двенадцать образов Блока-человека, сказанных о прерывности и, словно бы о невязке, отдельности разных времен роста его жизни. Образов, ясно притом говорящих о боли рождения мысли и слова, о тяготах преодоления кризиса души и кризиса культуры. Иначе говоря, повествующих о разном цвете и разных стадиях того, туго скрученного и петлистого пути, о котором сам он в беседе с Н.А. Павлович говорил, что «Если рассматривать мое творчество, как спираль, то «Двенадцать» будут на верхнем витке, соответствующем нижнему витку, где «Снежная маска».

Одним из самых крутых витков этого творческого пути-спирали был и до сих пор остается неуловимо загадочный - так и не давшийся в обман многих

соблазнительных толкований - драматично сумативый, невесело ироничный «Балаганчик». Именно его эмоционально дробное отражение глядит на нас с самого, пожалуй, экспрессивного из двенадцати портретов (к нему мы еще вернемся). Портрета, где, словно наскоро поладив, сшиблись в принужденном, гротескном согласии вечные соперники - неутешно печальный Пьеро и глумливо веселый Арлекин. Портрета, одновременно, скорбного и почти кощунственного, в живописном веществе которого словно бы с лихвой воспроизводятся те самые горячие слова Блока о душе лирического поэта, которые прозвучали чуть выше.

И потому, держа в памяти не только признание Блока о «спиральности» своего поэтическом пути, но и помня о короткой (и красноречивой) связи философии этого пути с его наглядным отражением в изменчивом облике поэта, продолжим вспоминать «Балаганчик». Не забывая, однако, своевременно взглядываться в представленные портреты. Ибо, всматриваясь и вовлекаясь в этот тесно сплетенный портретный круг, вдруг представляешь, что человеческий (то есть, согласно художнику, духовный) путь Блока начинается и пролегает все же не от «Снежной маски», а от этой «маленькой трагедии» 1906 года. «Маленькой трагедии», случившейся в «Дырявом Балагане» большого времени. Зато и завершается это восхождение по спирали, в совершенном согласии с признанием поэта, именно «Двенадцатью», в которых, по мысли живописца, всё и сошлось. Слово «всё» здесь значит, что именно в этой поэме совпали, наконец, не только персонажи жизни и персонажи театра времени, но и, немощные сойтись прежде, персонажи души самого поэта

Вспомнив «Балаганчик» в связи с причудливо белым, «пьеро-арлекинским» портретом Блока, созданным художником, попробуем сопоставить судьбы персонажей этой причудливой пьесы с жизнью героев «Двенадцати». Той обрывочной жизни, что мелькнула, да и так пропала в наволочи пурги и метели. Жизни, увести которую от последней погибели пытался, как, впрочем, и по сию пору все пытаются Иисус Христос. Пытается, продолжая упорствовать в добре и любви, не глядя на то, что вожатым и ловцом

человеков остается сплошь да рядом не Он, а тот самый, что в знаменитой блоковской записи 18-го года нерешительно назван именем «Другой».

О том, что значил «Балаганчик» для лирического героя Блока (иным словом, для глубоко личной, по-таинной доли души самого поэта) сам он написал в «Предисловии к сборнику «Лирические драмы». «Все три драмы связаны между собою единством основного типа и его стремлений. Карикатурно (так в подлиннике - В.Х.) неудачливый Пьеро в «Балаганчике», нравственно слабый Поэт в «Короле на площади», и другой Поэт /.../, захмелевший и прозевавший свою мечту, в «Незнакомке» - все это как бы разные стороны души одного человека; также одинаковы стремления этих трех: все они ищут жизни прекрасной, свободной /.../, которая одна может свалить с их слабых плеч /.../ бремя лирических сомнений /.../ и разогнать назойливых и призрачных двойников. /.../ Сверх того, все три драмы объединены насмешливым тоном, /.../ тою «трансцендентальной» иронией, о которой говорили романтики».

Здесь, пожалуй, стоит приметить, что этот самый «насмешливый тон» и, особенно, та самая «ирония, о которой говорили романтики» и стали тем прибежищем (если не долговременным пристанищем), которое до поры до времени спасало поэта от чувствительных уколов общества, улицы и жизни. Порой, усмешливая, порой, злая ирония, полагаясь на подмогу которой, он пытался совладать с трагизмом жизни. Но не смог. Хотя, как помним, и посвятил иронии эмоционально сильную, искренне едкой мысли, статью, напечатанную в 1908 году в газете «Речь».

И кажется, что именно в «Балаганчике» ирония как необходимо вынужденное снаряжение ума и как внутренне досадное, но неотвязное явление души Блока впервые выразилось не только обдуманно, но и свободно. Ибо уже с самого начала пьесы дух мистического предчувствия События вместе с ожиданием пришествия Смерти снижается самим пародическим тоном - тоном преувеличенно, напоказ таинственным. Причем, снижается не столько в усмешливую печаль, сколько в ироническую усмешку. Порой же, совершенно сообразно жанру балагана - правда, не без толики простецкой жалости - откровенно весело

осмеивается. Именно этот тон задает и саму «петрушечную» композицию пьесы и само ее, контрастного состава, слово; заодно подсказывая и название этой первой «лирической пьесы» Блока. Уменьшительно игрушечное название, в котором, кроме маскарадного смеха и бурлеско звучащего «мистического» уныния, словно слышится и публично оглашается нарочная, потешная игра, затеянная (согласно беглой ремарке) в «обыкновенной театральной комнате с тремя стенами, окном и дверью». Игра, сквозь которую, вместе с тем, различимо пробивается трагическая растерянность - пролог того рассеяния и размета, что спустя лишь десяток лет всерьез настигнет ее устроителей и участников уже в «Двенадцати».

Однако, если жанровое и философское сопряжение «Балаганчика» с «Двенадцатью» может быть все-таки доказательно предположено, то стоило бы попутно заметить, что по прошествии всего лишь 12-ти лет, уже в поэме, возможность такой задорной поэтической игры оказывается не только неуместной и мнимой, но и невозможной. Ибо, вместе с мелькающим временем, разноголосое, но стройное лирико-ироническое представление «Балаганчика», в «Двенадцати» стремительно раскалывается на куски, полняясь лихими частушечными кликами и всхлипами грубого площадного, всенародного трагифарса.

Иначе говоря, продолжая жить, мистический дух балагана в «Двенадцати» искажается и, разрываясь на клочки главок, необратимо перерождается. И замещаясь духом смятения и распада, снижается не в смеховую иронию, а в жутковатую игру плоти, мятежа и хаоса. При этом из него почти исчезает и, столь присущая «Балаганчику», изрядная толика литературной и философской пародии. И, наоборот, прибывает пародии уличной: злой и беспощадно скоморошьей. Прибывает, в том числе, и в своеобычном, фольклорном образе Христа, возникающего в клубах метели, словно пришедшим не со страниц Евангелия, а из бесхитростно немудреных «Народных русских легенд» Афанасьева.

Возвращаясь к теме разноликости Блока, попытаемся сравнить (а коли получится, то и сопоставить философски) «Балаганчик» и «Двенадцать». Присмотримся к теме двойничества в жизни его души, его

мысли и его поэзии. Теме ставшей тяжкой проблемой и, не оставлявшей поэта на всем протяжении пути-«спирали» его творчества. Проблемы, время от времени, а то и зачастую, возраставшей в нем до болезненной. Попытаемся сообразить меж собой «лица и положения» этих двух великих русских «лубков», этих очевидных вех, разделенных не просто двенадцатью годами жизни поэта, но резким сломом самого общего порядка другой, внешней, большой жизни: порухой ее исторического времени и разора ее природного места.

Представляется, что сопряжение, сближение этих произведений в пределах поэтики маскарада или площадного скоморошьего действия может оказаться плодотворным для уяснения этой темы. А, следовательно, и для понимания лирической правды поэта и правды отражения его образов в наших портретах. Наиболее выпукло и выразительно – в двух. Первый, о котором было уже упомянуто, условно назовем «Портрет в костюме Пьеро» (то есть, прямой образ из «Балаганчика»). Другой – «Портрет в военной фуражке» (то есть, облик Блока времени «Двенадцати»). Попробуем, не ходя далеко, сравнить хотя бы одинаково короткий зчин – «вступление» к каждому из этих блоковских созданий. Заметив при этом, что зчины эти не только похоже коротки, но, прежде всего, равно важны идеино и, близки сущностно.

Итак, «Балаганчик»: «Первый мистик Ты слушаешь? / Второй мистик Да./ Третий мистик Наступит событие./ Пьеро О, вечный ужас, вечный мрак! / Первый мистик Ты ждешь?/ Второй мистик Я жду./ Третий мистик Уж близко прибытие: / За окном нам ветер подал знак». А вот «Двенадцать»: «Черный вечер./ Белый снег./ Ветер, ветер!/ На ногах не стоит человек./ Ветер, ветер – на всем божьем свете!». Сопоставляя их слишком, на первый взгляд, вольно, сразу оговоримся, что «ветер» и «снег» в поэтике Блока величины постоянные. Как философски, так и лирически. Иначе говоря, явления – эстетически устойчивые и многозначительные.

Однако здесь, в обосновании жанрового и смыслового сопоставления этих – и по драматургической видимости, и по особенностям поэтики – столь разных произведений, для нас существенно

и иное. А именно – заметная близость отважного, пронизывающего ткань каждого из них, духа драматической, фарсовой игры и, возникающая в этом своеобразном духе, странная перекличка. Перекличка пародийно мистического ожидания Смерти как события театраального с трагическим переживанием его как события реального, уже сбывшегося и, разрушительного бедствия уже хлынувшего. Перекличка мистического духа с настоящей бедой, воплощенная средствами «высокого» стилизованного лубка. В «Балаганчике» – лубка горько, насмешливо и бурлескно «салонного», в «Двенадцати» – яростно отчаянного, беспощадно правдивого и гулько хохочущего, «народного».

Примечательно неизбытной оказывается в обоих случаях заглавная, ведущая роль ветра, такие состояния метящего; в пьесе, повторим, ветра лишь как «некоего» экзальтированного состояния, как предвестника события мистически грядущего. В поэме же – неподдельного, злого ветра как события уже грянувшего, уже наступившего. Его стихии, повсюду и вовсю безжалостно гуляющей. Стихии, что гибельно громыхающим шарабаном неостановимо покатившись из Петербурга по всей России, уже вскоре обернулась топочущим всякую жизнь, нашествием разбушевавшейся плоти. Нашествием, выросшей из посевенного ветра, бури, жертвами которой уже недолге станут сметенные в смерть персонажи и «Балаганчика», и, паче всякого чаяния, «Двенадцати». Что, собственно, их и уравняет: в жизни, во времени и в искусстве. Уравняет, в частности, и в тех двух наших портретах Блока, о которых – как наглядном художественном примере итогов такого смятения – было упомянуто выше.

Вглядимся же в них не вскользь: они того достойны. Достойны, прежде всего, как живописные преображения обреченно меняющегося под ветром и снежной метелью, облика человека. В нашем случае, меняющегося под кистью художника, облика человека Блока. На первом из них (живописно, едва ли не этюдном, а психологически, явно travestированном, сниженном и стилизованно символистском) это почти маска неудачливого лицедея Арлекина, словно бы погруженная в рыхлую снежность костюма Пьеро.

На другом, наоборот, психологически взаправдашнем - узнаваемо заостренное, искаженное скорбью лицо Блока года уже 17-го - 18-го, в примятой ветром военной фуражке.

Персонажи эти, на первый взгляд, далеки друг от друга не только во времени, но и в самом составе чувства. Однако в жанровой полноте и отчетливости черт этих лиц-ролей - друг другу все же сообразные. А коли принять за верное, допущение, что и пьеса, и поэма это - трагифарс, «трагический балаган» или «высокий лубок», то персонажи друг другу близкие или, по меньшей мере, меж собой кровно сходные. Сходные и сопрягающиеся не по внешним обличьям или костюмным приметам своего времени, а по внутренней судьбе и по приметам ее художественного осмыслиения.

Для того, чтобы основательно предположить и увидеть неслучайность сопряжения этих блоковских творений, отметим царящий в обеих вещах дух игры Балагана. Ибо, как писал Мейерхольд в 1912 году, «Балаган вечен. Его герои не умирают. Они только меняют лики и принимают новую форму». Стоит споставить маски и роли мистиков из «Балаганчика» с масками же поэта-витии, буржуя и, своеобразно единящей их маской-плакатом «Вся власть учредительному собранию!» из «Двенадцати» чтобы в этом убедиться. Сравнивая же два знаменитых «треугольника» - Пьеро, Арлекин, Коломбина и Ванька, Петруха, Катька - догадываешься не о схожести даже, а странном драматическом родстве, преемственности, а то и прямой связи этих - ритмически, жанрово и поэтически столь разных произведений. В подтверждение этой догадки вновь обратимся к сборнику Мейерхольда «О Театре», заодно вспомнив, что именно он был автором знаменитого спектакля 1906 года «Балаганчик», поставленного в Петербурге на сцене театра В.Ф. Комисаржевской.

«Глубина и экстракты, краткость и контрасты! Только что проскользнул по сцене длинноногий бледный Пьеро, только что зритель угадал в этих движениях вечную трагедию молча страдающего человечества и вслед этому видению уже мчится бодрая арлекинада. Трагическое сменяется комическим, резкая сатира выступает на место сен-

тиментальной песенки. В этом манифесте - апология излюбленного приема Балагана - гротеска. Гротеск не знает только низкого или только высокого. /.../ Гротеск мешает противоположности, сознательно создавая остроту противоречий и играя одною лишь своею своеобразностью».

\*\*\*

Возвращаясь к живейшей плодотворности многообличья Блока, кажется уместным привести слова В. Н. Топорова, глубоко истолковавшего его мысли о Жуковском: «Вот это «оживление» и слияние Жуковского-поэта и Жуковского-человека /.../ стало достижением русского символизма в широком понимании этого слова». Это важное наблюдение. Особенно, если взять решительному слову самого Блока: «Дело уже не в том, символисты мы или натуралисты, так как подлинный натуралист - символичен, символист - натурален». Ибо, следя такому достижению символизма и, исповедуя такое слияние как духовное явление собственного творчества, Блок захотел и сумел, словно вслед замечанию Фета о сюжетной привольности стиха, пересоздать обыденную жизнь и оплавленную свою душу - в поэзию. Пере создать всю, без остатка. Ибо, даже деловая его проза - правдива душевно. Не говоря уже о прозе художественной, что в духе - глубоко лирична и прозорлива, а в слове - неодолимо страстна и умна.

Угадчиво выведенную и обоснованно воплощенную художником многоликость Блока-человека и Блока-поэта вынудило трудное, не по годам чуткое, раннее взросление поэта. Придав этой уже безвозвратно зрелой многоликости почти чеканное разнообразие отдельных, завершенных в себе лиц. Породила ее и та ранняя, редкого доверия себе, поэтическая зрелость, что принесла Блоку не только духовные радости, но и душевые невзгоды. И вот душа не выдержала: и оторопела, опешила под гнетом времени, в одночасье обернувшегося разрушой безвременья. Безвременья, завершением которого для Блока оказалось изнemожение от жизни и ранняя смерть. «В последний год жизни Блок очень постарел, но особенным образом: он ссохся, как ссыхаются вя-

нущие розы». Так с изысканно холодной скорбью (и, поэтически рискованно) свидетельствовала об этом Ахматова.

Однако раздумывать в одиночестве и забытьи, запираться в домашнем журнале и, без сожаления, сторониться чужого общества, как это было в дедовском доме он, выросший из детской, продолжить уже не смог. Не смог вплоть до самого своего трагического конца. И тогда лицо стало меняться: в него постепенно - и не всегда поочередно - приходят образы, мифы и маски. Отсюда - недолгое, но страстное любительское актерство (включая роль Гамлета), отсюда и глубинно романтическая увлеченность культом и ритуалом куртуазного рыцарства со всеми особенностями его философии сердечных страданий, прекрасной дамы, преданной любви и одинокой печали. Что, со сложной поэтической искренностью, но и душевной подлинностью сказалось, «вышелось» (слово самого Блока) в «Розе и кресте». Отсюда же (вслед пристрастию к «вечной женственности» не только Соловьева, но и, сказать ли, Дон-Кихота) и обреченность на вдохновенное сотворение из простоватой таки и, не всегда в поведении строгой Любови Дмитриевны Менделеевой - Прекрасной Дамы.

И, кажется, что тоже отсюда - кроме бесспорной психологической стройности художественного анализа - подспудное любование естественностью слова, свободой выбора или шалым поведением Аполлона Григорьева, сказавшееся в большой о нем работе. Горячее восхищение не только близким ему по духу литератором, но и подлинное сострадание поэту и, человеку гущи жизни, стихии чувства и смелости воплощения желаний.

Блоку же приходилось слишком часто избегать докуки умышленного эстетизма или чураться пошлости жизни, понуждая к делу запас и заряд собственной многоликисти или, уходя в «публичное одиночество» ресторанов на Островах. «С «мистическим реализмом», «мистическим анархизмом» и «соборным индивидуализмом» никогда не имел, не имею и, не буду иметь ничего общего. Считаю эти термины глубоко бездарными и ровно ничего не выражаютими. Считаю, что мистический анархизм был бы давно забыт, если бы все Вы его не раздували так отчаян-

но» Это из письма, написанного Андрею Белому из Шахматово 6 августа 1907 года. Характерно в этом отрывке не только решительность высказывания и его твердый тон, но и это «Вы» написанное с заглавной буквы (что понятно), однако во множественном числе (что красноречиво).

Но многоликость постепенно и успешно брала свое: от простодушного сказочного детства, через одухотворенность «Снежной маски», горький смех «Балаганчика», мудрой скорби «Возмездия», к голосящему по России жуткому метельному вою «Двенадцати».

В своих двенадцати портретах художник смог осуществить трудное, но, как кажется, плодотворное намерение мысли - разглядеть многоликость Блока пристальней, внять ей как особенной черте его личности и дарования, представив воочию его движущиеся во времени и в духе, образ. Внять как особенному свойству его, почти болезненно чувствительной ко многим внутренним творческим рождению, отзывчивой личности. Личности, как ни парадоксально, странно цельной, однако всегда глубоко и органично переживавшей частые драматические сколы и трещины как сокровенной, так и откровенной своей жизни. Переживавшей их так же глубоко, как и разные - вплоть, до трагически меж собой несходных - периоды и вехи своего пути. Отсюда и поразительные - вместе с переменами в душе и творчестве - перемены в лице. Оттого это не новая маска, не всегда уместная или не вовремя являющаяся, а предельно полное воплощение нового или, вернее, обновленного порой до неузнаваемости, жизненного и литературного поведения.

Такие изменения и обновления ясно видны во всех двенадцати портретах, сработанных художником. Но на явную, сразу бросающуюся в глаза, особицу, в двух намеренно лишенных гротескных черт, внезапно светлых и не искаженных внутренними борениями, образах. Светлых, правда, тоже совсем по-разному. Ибо происхождением они из не-похожих времен. Если первый (хронологически, это время студенчества) светел светом еще не надгреснутой надежды и молодого вдохновения, то другой (хронологически - времени уже пореволюционного)

А. Маслов

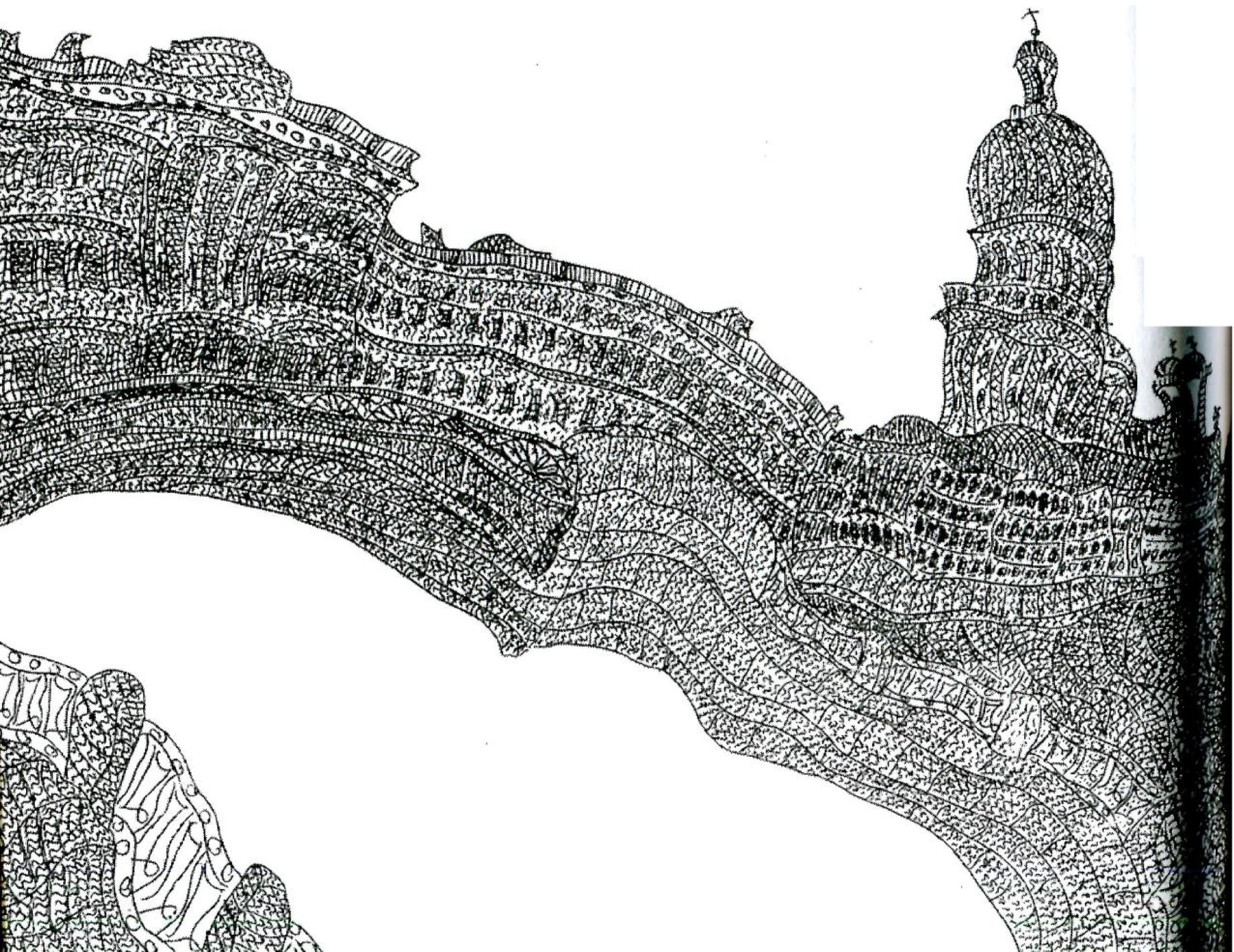
просветлен светом одоленных надежд, страха и упования, одухотворен смирением перед пережитым и, уже внимающий Иному. И потому, вдохновение в этом, сполна претерпевшим страдания и разочарования лице уже устойчиво, зрело и покойно.

Основываясь на тех же метафорах «ветра» и «снега», можно вообразить и представить, что первый образ живет под влиянием небесного ветра и чистого снега жизни; под влиянием еще благодатным, еще поэтическим и многообещающим. Другой – это образ человека, испытавшего уже не веющее благом дуновение, а всю разрушительную силу буреломного ветра. Не трепетно мистическое ожидание Незнакомки средь мягкого ночного снега, тихо падающего с чистого звездного неба, а снежную, буранную мятель, в которой блуждает, теряется и гибнет человек. И лишь представив все это, можно почувствовать и осознать, что перед нами не только образ путника, пострадавшего от выюги, но и образ поэта, сумевшего против нее выстоять. А выстояв, создать из ее разбойниччьего посвиста и карающего гнева, трагически переосмыслив ее в духе, великую поэму о «погибели земли русской».

И напоследок. Незадолго до смерти Блок писал: «Пушкина убила не пуля Дантеса, а отсутствие воздуха». Столь же исчерпывающе можно сказать и о нем самом. Только чуть иным словом: Блока убила не болезнь, а отсутствие любви. Любви, которую – в свой черед – убила окаянная революция.

# БЛОК: портрет души художника





**I** Слышишь? Гремит земля. Это смеется и плачет время. Кувырком несется ветер. И вспять. Ветер. Чертов он что ль? Или божий? Но не той видно воли, ибо поднял бы тебя Александр с ложа мертвого моря. Вытяни руку, раскрой парус, и он унесет тебя с ложа. И все. Ветер человеческого духа - лебединая стая, опрокинутая бурей над миром.

Внизу из венчиков, из роз Христос и те двенадцать. Немногою стороной. И тот алмаз: «Ночь, улица, фонарь, аптека...» Вожак ныряет, бьется в ветре, пытается клювом схватить бриллиант, но мимо. Забитая мглою аптека, где вместо снадобья мертвые головы продают. Фонарь? Он путник. Кругом тьма. Кто это? Шум шагов. Да, они идут, идут... двенадцать, там, где все вымела снежная буря и город, скрученный колесом, гнилым зубом торчит из канала. И некому сипло вскричать... долетит ли это колесо до Казани, или прямо здесь оденется тебе на голову?

«Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, господи, благослови...»

Ветер Блока. Нега Блока. Дама блока. Дама Блока, заслонившая собою Христа. Но бриллиант в ожерелье незнакомки создан сиянием, горечью, отчаянием и тишиной. Тишиной разума и творения, и пониманием, что все прошло, прошло вскользь, прошло мимо.

Резонирующий,зывающий, опаленный голос утомленной плоти. Катку, радость мира, убили. Это все, что дальше... А ближе? Что же можно увидеть? Глаза слепы - ой, выюга, ой, выюга.

Сквозь снежную бурю прорываются лебеди. Внизу город, внизу мир, внизу надежды, внизу обещания, внизу крик, внизу вопрос:

«И голос был сладок, и луч был тонок,  
И только высоко у царских врат  
Причастный тайнам плакал ребенок  
О том, что никто не придет назад...»

P.S. почему же он прошел боком, Христос? Пойду на кухню. Там поэт и садовник Галина Рукина вышивает из воздуха.

P.S.S. Услышал по радио, что в Воронеже две тысячи человек шли с лозунгом «Революция! Долой капитализм»

## II

Портрет пошел как-то вкривь. Передалось дребежание души Блока - бывают своих, бывают буржуев, летит снег, несутся битые стекла, втыкаясь в эротическое тело поэзии Блока.

Масляные краски с остатками лака из обтертого пузырька накатывались на холст - лава, которая должна застыть и преобразиться в лицо поэта.

Стало интересно - в начале был написан сложный и тяжелый фон, а обрис головы и плеч оставался белым. И это выглядело монументально и таинственно - белый тоннель, из которого врывалось плотное бытие этого мира, и сверхнаполненность другого, мистического мира. И это все со свистом и яростью.

И в белом виделся лик Блока, и характер его, и тарапнящее пребывание. Писалось с какой-то дрожью и кисть наткнулась на белое, осталось пятно и пришлось записывать холст, а до этого хотел было черным фломастером нарисовать лицо - глаза, брови. Получился бы такой портрет: фон красочный, а белое лицо кое-где поддернуто черной линией, но вспомнил, что где-то это уже было, и отоспал себя к будущему.

Но с самого начала явился Артур Рембо, стал пристраиваться к холсту, оттесняя Блока. Свежий выкрик лирической интонации у них довольно близок, хотя у Блока она дальше к завершению возрастного существования - она набирает уже позднее тело и несколько рыхлеет. Портрет менялся - от Блока его тянул к себе Рембо и получался уже или юноша или высокий величественный старик, и немного Рембо. В общем, какой-то изломанный старик-юноша.

Я подумал, пусть это называется «Портрет молодого поэта», ибо в нем было величие и вдохновение.

Блок нетленный, Блок мятежный укажи - Ветер, и лебединая стая вспенится, забьется взмахами снежных крыльев своих.

Ветер, тревожный ветер.

А что же Провидение? Что надумало себе, вложив в уста поэта Христа и красный стяг его и двенадцать.

О чем они думали, шагая за Ним - о пожирающей саму себя вселенную? О Катьке? И как тесно и неуютно в этой бесконечной вселенной, которую захватили буржуи - «... мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, господи, благослови...»

И что Провидение? Дало еще один шанс человечеству, или как ветер, бросило его на камни, пусть обтечет его природа и ветер. Пусть в усталой равной плоти народа произрастает и укрепляется дух Христа.

Ранее на зоре Предбожия жила тишина, царство всеобщей и индивидуальной приязни, но с сотворением мира он вдруг поскакал по кочкам и проталинам, тряся и беспокоя вся. Человек же устроился на плечах Другого. И куда ты несешься всадник, что указует тебе путь?

Ныне холодный мозг лелеет захватчика, возраженного к изначалу рождения нравственных категорий, человека с железными кулаками и стеклянным блеском компьютерных зовущих глаз.

Напрасно вложило Проведение в уста поэта, Христа и красный стяг его? Или еще надо потрепать человечество, чтобы стало оно совершеннее, не заболтает ли ему башку.

P.S. А что касается портфета - окно было открыто, и ветер соффал его с мольберта и унес в безвестность и в безвременье.

P.S.S. Блок облаком плывет над головой. Гений всегда современник, остальные унесенные ветром.

P.S.S.S. Тимофей, дачный крот, начал нервничать - садовник и поэтесса Галина Рукина собирает инвентарь.

### III

Храм, окруженный сединами прожитых лет, парил на холме. Время вольяжно вливалось в лицо его и оседало за спиной вздохами сожелений, раздумий, дрём. Позади на камне сидела старая женщина, мерно подтягивая сеть, где волновалось и билось время,

Ворон с египетским прищуром неподвижно взглядался в даль.

Облака, сиротливо гонимые ветром, цеплялись фалдами за жесткость труб, рвались в клочья, мыльной пеной повисая на плечах.

Согбенный старишёк выхватил из-за пазухи бритву и со словами: «ИЭХ, экономия» - взмахнул ею.

Был август и чувствовалось тревожно, что все прошло, что все истлело. Серебряный фрак, серебряная фата, напыщенная толпа друзей.

«Блок, обратись, народ тебя любит». Интелигенция не народ, только деепричастие. Есть другое дело-причастие, - усмехнулся Блок: Блеют они, бяша бяша...», - так состоялось прощание с символизмом-изыском плоских игральных карт.

Священник на крою храма кадил ладоном и хорпел с амвона ... Из клубов дыма вырвался пылающий конь с железным всадником.

Революция.

Дама Блока отправлена в мизансцены театра и от дурманящей любви знакомой Незнакомки он прилипился к немощьным мирам сего.

Он стал молитвенником 17 года.

Ветер бушевал Он сжимал дождь, срывал листья.

Фонарь, беззвучный всхлип космической тоски, упервшись ещё держал переулок.

За ним ночь, улица, аптека. Но и он, закрутившись, зажженым поленом улетел прочь.

Буря, скрежеща, сорвала ночь и проранный небосвод проблескивал тускло.

День не пришел. Было третье состояние.

Блок вел за собой. Он построил хрустальный дворец в беспредельном пространстве.

Озарив разум, он соткал поэзию легкую и воздушную, как полет грез в солнечной яви сознания.

А что революция, сестра жизни и смерти? Самый томительный душой и духом из всех русских поэтов Александр Блок не выдержал бытия, плоть его разорвалась, в небеса взмыл лебедь и присоединился к той стае, опрокинутой бурей над миром.

А Незнакомка? Не одна ли из тех женщин, что окружали Христа, таинственно присутствуя у Блока в одеяниях окружения его?

Нехотя открываются двери истории. Опаленный романтическим гением А. Блока, вышел навстречу судьбе одинокий романтик Че Гевара. Плоть его разорвали.

Христос у Блока под красным знаменем вел народ к новому социальному порядку и объединял его с новой старой мудростью православия. Но большевики мнили себя больше Христа. Кто там стучит в дверь? Дьявол?

P.S. Оптический стафет Нектарий на вопрос дамы о судьбе Блока, помедлив сказал: «Александр в раю».

P.S.S. Тимофей, дачный крот, изгрыз все клубни и корни цветов, и лукаво выглядывал из нор своих.

P.S.S.S. Кто-то стучит в дверь. Александр? Блок? Гений – всегда современник, остальные унесенные ветром.

75,00

УДК 82.(091)  
ББК 83.3(2)53  
Х 71

В оформлении использованы работы А. Маслова

Холкин В., Маслов А.  
Х71 Блок: двенадцать портретов одной души / Холкин В.,  
Маслов А. — СПб. : Алетейя, 2010. — 32 с., 8 ил.  
ISBN 978-5-91419-415-1

УДК 82.(091)  
ББК 83.3(2)53  
Х 71

Главный редактор издательства И. А. Савкин  
Оригинал-макет И. Н. Граве  
Корректор И. Е. Иванцова

ИД № 04372 от 26.03.2001 г. Издательство «Алетейя»,  
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.  
Тел./факс: (812) 5608947, 3272637  
Email: office@aletheia.spb.ru (отдел реализации),  
aletheia@peterstar.ru (редакция)  
www.aletheia.spb.ru

Подписано в печать 01.07.2010. Формат 84x108 1/32.  
Усл. печ. л. 2. Печать офсетная. Тираж 500 экз.  
Отпечатано с готовых диапозитивов  
в ООО «Типография “Береста”», 196006, Санкт-Петербург,  
ул. Коли Томчака, д. 28  
Заказ № 1548

ISBN 978-5-91419-415-1



9 785914 194151

© В. Холкин, 2010  
© А. Маслов, 2010  
© Издательство “Алетейя” (СПб), 2010  
© “Алетейя. Историческая книга”, (СПб), 2010